

«МУСОРНЫЙ ЧЕЛОВЕК» И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО: МЕХАНИЗМЫ СОБЛАЗНА

Наталья Ковтун

Сибирский федеральный университет
Астафьевский научный центр

Статья посвящена проблеме существования человека постиндустриального общества, как он представлен в антиутопических текстах 1990-х годов. Разграничивая понятия массового человека и человека толпы, мы намечаем образ человека мусорного, выжившего на осколках прежних утопий и мифологем. Мусорный человек, на наш взгляд, и есть транскрипция древнего Хама, вышедшего из тени героических эпох. Повесть «Лаз» В. Маканина описывает стратегии выживания одиночек-интеллектуалов, толпы, обывателей в постапокалиптическое время, их взаимоотношения с государством. Текст свидетельствует – победа Единого Государства, к которой в классической утопии готовили через Великую операцию, оказалась Пирровой. Уничтожение души, фантазии, воли, во имя чего и совершалась Великая операция, обернулось разгулом хамства. Ловкий, равнодушный и агрессивный мусорный человек перестал торговаться и спорить с государством, разучился читать и мечтать, что привело к остановке истории, исчезновению бытия.

Ключевые слова: антиутопия, Маканин, Лаз, толпа, мусорный человек, хам.

Keywords: anti-utopia, Makanin, Manhole, crowd, person of rubbish, Ham.

Человек и власть – вечная тема русской литературы. К концу XX столетия она существенно трансформируется, на место «маленького человека», сочувствие к которому обеспечивала традиция, заступает **человек мусорный**. Оказавшись под руинами глобальных утопий прошлого, он вынужден выстраивать собственный мир заново из обломков, осколков прежних утопий и мифологем, выживать на мусорной куче.

Век XX начинается пророчествами Д. Мережковского о «Грядущем Хаме» (1906), движется к «Восстанию масс» (1930) Х. Ортега-и-Гассета и завершается утверждением власти «голового

человека эпохи сумерек (Ковтун 2013, 313–327). Традиционалисты хамами называют писателей и героев постмодернизма: В. Распутин не простил А. Синявскому «хамской» прогулки с Пушкиным, однако русский постмодернизм «панибратские» отношения с классикой подхватил и упрочил (Савкина 2014, 95–115). Задача статьи – наметить отличительные черты мусорного человека, как он представлен в литературе 1990-х годов, понять особенности его взаимоотношений с современным государством. Акцент на 1990-х не случаен, в это время через и посредством литературы эпоха подводит итоги, здесь рельефно

прочерчены основные тенденции и характерные типажи. В порубежные времена и выходит из тени человек толпы, обитатель культурной периферии (Московичи 1996, 58)¹.

Мережковский увидел грядущего хама как **мещанина, китайца** или **босяка**, воспетого М. Горьким (Басинский 2014, 212). А. Блок в *Скифах* (1918) передал нашествие гуннов в образе «панмонголистских сил», ринувшихся на Европу (Мароши 2002, 184–192)². В этом ряду для нас актуальна фигура босяка, нечувствительного к подлинной вере и культуре. Босяк получился у Горького с привкусом нищезанятия (Колобаева 1990, 160–178), осознавшим собственную демиургическую силу, власть над миром, помимо или вопреки божественной власти. В таком герое еще сильна витальная энергия, но от ограничений культуры он мыслит себя свободным, и в этом проявление своеобразной преемственности с Хамом библейским. Последний вызвал гнев отца именно бесстыдством, когда тайно лицеизреп его утомленным вином, обнаженным. Рассказав о постыдном положении отца братьям, он надсмеялся над устоями, не убоился гнева родителя, на проклятия отца ответил молчанием, уходом. Хам есть повсюду, где существуют святыни и законы, то, что требует

охраны, сбережения. Мусорный человек, на наш взгляд, и есть транскрипция древнего Хама, вышедшего из-под обломков цивилизаций.

Классическая русская литература хама изучает с особой пристальностью. Свои образцы создают Н. Гоголь, Ф. Достоевский, декаденты. От Чичикова, Смердякова до Недотыкомки Ф. Соллогуба и «футлярного человека» А. Чехова выстраивается образная парадигма. Если в фигуре Чичикова акцент сделан на некой особой изворотливости ума, рационализме, народному простодушному миру в целом не свойственных, то в хамстве смердяковского извода подчеркнуто духовное убожество, лажество, талант воспользоваться обстоятельствами, как правило недооцененный окружающими. Серебряный век акцентирует демоническую природу хамства, способность соблазнять свободой без креста или тайной. По мысли П. Флоренского, Блок в поэме *Двенадцать* (1918) намечает черты Антихриста в том, кого принимают за Христа. А. Богданов в утопии *Красная звезда* (1908) первым лишает прописки в фаланстерах интеллигенцию, утверждая пролетариат на месте демиурга. Отличительной чертой насельников будущего и становится хамство – свобода от прошлого, нечувствительность к морали, готовность к перековке по плану очередного Благодетеля (Ковтун 2005, 78–118).

Художники-ортодоксы, рисующие советский строй, хама героизируют, «кто был ничем, становится всем»: от А. Серафимовича до С. Бабаевского и Вс. Кочетова утверждается «новый человек» атлетической закалки, упорный в достижении цели, не обремененный

¹ Мы разграничиваем понятие толпы и массы, ибо в толпе люди связаны через личный контакт, в массе – через медиа.

² Эпоха модерна рассматривает мифологию скифства и гуннов в различных транскрипциях. Скифский сюжет символизирует «варварское обновление», он креативен, связывается с пафосом неисчерпаемости витальных сил; гунны знаменуют дионисийские страсти, радикальное обновление культуры модернизмом. Позже это разграничение снято («Бич Божий» Е. Замятина).

рефлексией и памятью (Лаухузен 1992, 184–205). В поэме Д. Кедрина *Свадьба* (1933–1940) с Атиллой сравнивается И. Сталин, за которым уже не могучие гунны и скифы, но «вся сволочь мира», сборище дикарей, уродов (Кедрин 1975, 170). «Маленького человека», растерявшегося перед натиском Революции, «брали сюжетом» Н. Эрдман, М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров.

Участь личности в мире, захваченном толпой, обозначил А. Платонов в рассказе «Мусорный ветер» (1933). Написанный в форме бреда, текст представляет раздавленного диктатурой мусорного человека, выброшенного на свалку, превращенного в животное. Образ «мусорного ветра» прочитывается как демоническое порождение памятника фюреру, постепенно он поглощает весь художественный мир. Смерть героя в финале «приобретает символический смысл, означая крах и конец эпохи разума и надежды на “очеловечение”» (Проскурина 2013, 189). Рассказ заключает сцена каннибализма, когда человеческим мясом, которое срезает с себя обезумевший человек, питается страж государства: «Увидев в кухонном очаге кастрюлю с питательным и еще теплым мясом, уставший полицейский сел кушать его себе на ужин» (Платонов 2010, 288). Автор предрекает «мусорное будущее» стране Советов. Когда советский строй рухнул, плакатные герои, ретушированные лозунгами и призывами, оказались «голыми». Из-за их спин выдвигается редуцированный советский человек – совок, великолепно описанный Маканиным в повести *Стол, покрытый сукном и с графином посредине* (1993). Нас будут интересо-

вать тексты, маркированные посредством антиутопического дискурса, в которых означенные мутации наиболее рельефны.

Повесть Маканина *Лаз* (1991) рисует посткатастрофический мир, захваченный «ее величеством Толпой», с ней приходят «убийства, грабежи, погромы слабых» (Маканин 2009, 342). В этом пространстве насилия, уродства и блуждает главный герой – интеллектуальный странник Ключарев, открывший мистический лаз к «сфере духа», красоты, Слова. Лаз не гарантирует открытия истины, он – символ погружения героя в бездны собственного бессознательного, прапамяти, откуда можно укрепить дух «квантом старой энергии». Не случайно процесс путешествия под землю сравнивается с актом любви и плаванием одновременно, преодолением то ли Леты, то ли Стикса: Ключарев напоминал «пловца, плывущего на боку, плывущего в земле». Такой же подкоп под воды реки времени делают герои другой повести Маканина – слепцы и Пекалов (*Утрата*, 1987) в попытке доискаться смысла собственного бытия, не найти ответ на «вечные вопросы», а разрешить дилемму между конечностью жизни отдельного человека и бесконечной пестротой мироздания. Преодоление прохода-лабиринта и есть тогда схватка с собственной смертью.

Путь Ключарева скрепляет распавшееся, «мусорное», пространство (пещеры, вагоны, углы-квартиры, улицы-лабиринты), он прерывен, полон тупиков, встреч с толпой. Это извилистый путь человеческой мысли, движение которой и пытается запечатлеть автор. Повествователь не толкует чужие мыс-

ли, но едва успевает за снами и фантазиями «чудаковатого» героя. В тексте разграничены индивидуальная поэтическая утопия персонажа, его надежда на слово – не слово-дело, а сам процесс витийствования («онемевший Ключарев слышит присутствие Слова. Как рыба, попавшая в воду»³, он оживает: за этим он и спускался» [Маканин 2009, 416]), и скептико-ироническая позиция нарратора, уже познавшего бессилие самых пылких речей. Роман Маканина *Андеграунд, или Герой нашего времени* (1998), обращенный к проблеме бытия человека, отвернувшегося от слов, погруженного в стихию жесткой материальности, выглядит своеобразным продолжением этого текста начала 1990-х (Абашева, 2001, 59–94)⁴.

Темный верхний мир в повести Маканина вызывает всеобщий ужас. Нижний же, изобильный и сверкающий («Поразительно это обилие света!» [Маканин 2009, 420]), напоминает герою детство, рождественскую елку – один из символов Христа, защиты от зла. Описание подземного мира маркировано элементами классической утопии. Шахматный пол символизирует интеллект, свободу выбора и ответственность за него, воплощает модель управления государством. Противостояние верхнего и нижнего пространств не абсолютно: царство хама – последний виток цивилизационного развития; мир просвещения – начальная его ступень, кото-

рая совпадает с последней, что создает ощущение обреченности, тупиковости бытия. Разрушенная «старая церквушка», оскверненная «остаточным хламом», с вороной, покачивающейся «на высоком штыре, что вместо креста» (Маканин 2009, 410), в верхнем мире ассоциируется с горой мусора из возвращенных билетов («Холм уже в человеческий рост» [Маканин 2009, 435]) тех, кто повторил жест Ивана Карамазова, отказался от будущего – в нижнем. Так проявлена близость позиций хама Смердякова и интеллектуала Ивана в их чуждости творению, воле Отца. Это тонко почувствовал еще М. Горький, в ранних текстах которого интеллигенция напоминает босяков, а босяки интеллигенцию, ибо те и другие лишены аристократизма духа, чувства родства с божеством (Меньшиков 1900). В романе *Андеграунд, или Герой нашего времени* «интеллигентская богема легко сближается с общежитской гульбой», эстетствующих художников влекут пахучие углы общежития – вечный быт «униженных и оскорбленных», где очевиднее законы человеческой природы (Семыкина 2008, 135). Уже в мире «Лаза» исключен трагизм выбора, в жизни ничего и нет, кроме слезинок детей. Оппозиция верхнего и нижнего пространств имеет множество смыслов: Россия – Запад (эмиграция), природное – социальное, инстинкт – разум..., но ни один из них не доминирует. Ситуации, образы того и другого мира накладываются друг на друга, бликуют, создавая ощущение исчезающего бытия.

Ключарев же – странник, пытающийся сохранить прошлые смыслы, но не ради внутреннего удовлетворения, а

³ Смысл этого сравнения мы раскроем ниже.

⁴ В подобной стилистике выстроены и поздние тексты В. Сорокина: его герои существуют за пределами культуры, которой противостоят первобытные, неуправляемые страсти и инстинкты. Отсюда же культ уродства, зла, варварства, проступающих сквозь флер привычных норм.

чтобы закрепиться на какой-то точке и устоять среди обваливающегося мусорного мира, разнuzданных страстей, животной жестокости. Зов о помощи, на который спешит герой – зов культуры и памяти, еще не окончательно утраченных. Путь Ключарева связывает частицы расползающегося мироздания, но связывает лишь на миг, ибо в осколочном пространстве «вместе – опаснее», чтобы выжить нужно «быть порознь, затаиться в своих щелях, сделаться меньше и незаметнее, ибо именно у распылившихся, у ставших как пылинки, более шансов выжить и уцелеть» (Маканин 2009, 411). Для того, чтобы обустроить новое убежище – пещеру, Ключарев, «должен сам стать отчасти пещерным и деспотичным, ибо иначе ни тебе, ни твоей мягкосердечной семье не уцелеть и не выжить» (Маканин 2009, 389). Во время выхода на темные улицы, друг Ключарева – Чурсин надевает кепку, сливается с толпой. Кепка – знак того, что он «готов вступить в борьбу без правил. (В борьбе за выживание кепка взывает к его запасным внутренним силам, к былому детдомовству. У него действительно меняется облик, стиль поведения, даже речь)» (Маканин 2009, 397). Герой говорит, ведет себя агрессивно, отчасти пародируя идею вожака (кепка Ильича). В этом и заключается трагический абсурд настоящего, когда хамство гарантирует устойчивость существования. Человек, спасающийся в пространстве иллюзии, культуры, не может быть избавлен и от причастности к низкому, страшному, он способен превозмочь законы плоти (аскеза), но не способен забыть зло в себе: Ключарев представляет себя чер-

вем («так движется червь, так движутся и люди, если они не притворяются»), путь которого правит «земляное сознание», «колея веков». Автор и передает единство противоположностей: духовный путь личности, осознавшей свой смертный удел.

Ритуальное путешествие скитальца проецируется в тексте на крестный путь (аналогия с рыбой – эмблемой жизни, обреченной на искупительную жертву), оно мучительно, сопряжено с риском, болью: Ключарев постоянно ходит с незаживающими ранами под одеждой, напоминающими **стигматы**. Стигматы не были целью святых, но сама их вера, скорбь о несовершенстве мира получала подобное материальное воплощение. Проникая в глубины времени, мысль героя нанизывает целые культурные пласты, Ключарев предстает в чудачьих образах калики перехожего, Дон-Кихота, интеллигента в ритуальной шапочке с помпоном, но ни один из них не кажется исчерпывающим. Мифы высокой культуры, в которые рядится современность, не приходится впору, остраиваются, что и рождает эффект иронии. Лишенный покровительства высоких слов, абсолютов (религиозных, культурных), «голый человек» вынужден доверять собственному витальному чувству, открывать забытый след смысла заново. Код христианства – только одна из проекций поиска, дань культурной традиции (не вере), сохранившей опыт восхождения человека от хамства к высокой духовности.

Фамилия Ключарев соотносится с символикой фалла и ключа. Преодолевая отверстие лаза, герой ввинчивается в тело земли как порождающего

женского начала: «земля как женщина, а он как мужчина, совершающий свое вечное мужское дело» (Маканин 2009, 359). Ключ – знак высшей власти, связанный в христианстве с процессом вознесения души на небо. Святой Петр держит ключи от рая. Ключ – символ проникновения в тайну, загадку, эмблема инициации и – посох. В повести Маканина сакральная парадигма переосмыслена. «Апостолом Петром у врат рая» названа случайная возлюбленная Ключарева – кладовщица, хранящая инструмент (лопату, ломик, кирку), без которого не открыть пещеры, не постичь первоначального смысла. Ее двойник в верхнем мире – сторож морга Семеныч, «невысокий мужичонка в ватнике, с огромными ржавыми ключами на стальном кольце» (Маканин 2009, 408). Сам герой – живая «затычка» меж миром духа и царством «низа», его восхождения и спуски – напоминание об утраченной вертикали, кресте. Проворачиваясь в отверстии лаза, Ключарев хотел бы распахнуть пространство, но «не может расширить лопатой дыру лаза: тут предел...». Предел возможностей человека вообще – не Бога, когда приближение к тому или другому полюсу равно опасно: кровохарканье от недостатка кислорода – у жителей сверкающего утопического города и вечный страх быть раздавленными толпой – у обитателей темных улиц. Попытки преодоления собственного удела свидетельствуют, по Маканину, не силу, но инфантильность, утрату лица, слияние с толпой.

Подчеркнем, что Ключарев спускается вниз не за вещами, а в надежде услышать слово, политические дебаты или стихи. Он не ищет смысла в про-

износимых текстах, но дорожит самой пылкостью речи:

Высокие их слова неточны и звучат не убеждая, но с надеждой, что даже при близительности искренних слов раскроет душу (лаз в нашей душе), и исторгнутая оттуда боль скажет слова новизны. Слова не выкрикнутся, просто назовутся сами собой, и люди, быть может, притихнут от догадки: вот оно!... (И станет добрее толпа? и добра и совсем не опасна станет многотысячная толпа, умиротворенная своим возвращением из кино или из бескорыстного большого застолья, когда ночь полна звезд; и чей-то голос в толпе поет?)

(Маканин 2009, 437).

Слова волнуют, «дают высокий настрой духа», «укол высоких слов напоминает, что он и она (и ты с ними) не просто ползущие или вползающие существа? Что он и она (и ты тоже) не умрут – что же еще?» (Маканин 2009, 392). Эта же надежда уравнивает абсурд мироздания, становится двигателем сюжета в рассказах В. Распутина 1990-х («Новая профессия», «В больнице»), в романе *Кысь* (2000) Т. Толстой.

У каждого героя в повести Маканина свой вариант пещеры, отдельный поиск опоры существования. Для семьи Чурсина «обретенным раем» становится цистерна, бункер, оставшийся в наследство от времен «развитого социализма». Это абсолютно замкнутое пространство, символ самооценности частной жизни, довольства малым. Бункер – церковь наоборот (под землей), красавица дочь Чурсина сравнивается с Богородицей: «стоит поодаль, все так же со свечей в руках – как мадонна», в запасы воды «брошен серебряный оклад с иконы – святая вода желудка не испортит» (Ма-

канин 2009, 377). «Насмешливый» Павлов выбирает убежищем городскую квартиру, за дверью которой воображаемая рентгеновская пушка, напоминающая «гиперболоид инженера Гарина» из утопического романа А. Толстого. Бытие человека отграничено от внешнего пространства и не претендует на универсальные смыслы.

Прямо обратная позиция, когда вопросы частной жизни решаются в глобальном масштабе, предельно формализуются. Просвещенные жители подземного города (по-масонски возделанные из протоматерии люди: писатели, художники, поэты) обсуждают известные утопические модели преобразования мира: от «русской крестьянской общины» до «разумного Государства» с философом на троне или харизматическим вождем-тираном. Рационализированные проекты «осчастливливания граждан», как и мифы о частном убежище, представляются равно исчерпанными даже их протагонистам: буднично умирают во время интеллектуальных дискуссий ревнители «всеобщего счастья», иронизируют над собственными «пещерами» Чурсин и «насмешливый» Павлов.

В контексте нашей темы особенно значим **образ толпы**, по отношению к которой и самоопределяются герои. Толпа вездесуща, непредсказуема, лишена динамики «живого творчества», отличающей гуннов и скифов начала XX века, внушает почти мистический ужас. Одинокая женщина на темной улице признается Ключареву: «Но боюсь, что люди вдруг набегут. Набегут и затопчут. Прямо вижу, как тыщи и тыщи бегут по улицам...» (Маканин 2009,

386). Неудачливый вор убегает в темноту – «и с внезапной ясностью Ключарев понимает, совместившись, что и этот вор, и он, оба они боятся толпы» (Маканин 2009, 383). Интеллектуалы уходят в пещеры, бункеры, лазы, спасаясь от толпы, в которую обратилось население Единого Государства. Прежний человек шеренги – последовательный утопист, верующий в общий идеал и мудрость Благодетеля, был управляем, предсказуем. В повести Маканина, напротив, толпа лишена единства, инфантильна, кипит злобой:

Лица толпы жестокости, угрюмы. Монолита нет – внутри себя толпа разная, и все же это толпа, с ее непредсказуемой готовностью, с ее повышенной внушаемостью. Лица вдруг белы от гнева, от злобы, задеревеневшие кулаки наготове и тычки кулаков свирепы, прямо в глаза.
(Маканин 2009, 406).

Время толпы – полутьма, отличное свойство – «общая усредненность, которой не перед кем держать ответ, кроме как перед самой собой, прежде чем растоптать всякого, кто не плечом к плечу» (Маканин 2009, 406). Появление толпы внезапно, сопровождается особым звуком: «Звуки ударные и звуки врястяг, сливающиеся в единый скрежет и шорох, вполне узнаваемый всяким человеческим ухом издалека: толпа» (Маканин 2009, 401). Завывание («А-ааа. Уу-ууу...» – катится окрест многоголосое, многоногое и ничем не сдерживаемое» [Маканин 2009, 407]), скрежет, шорох, «тысячегое шарканье и гул» – признаки толпы, отсылающие к образу библейского Змея – гигантского червя, мастера сексуально-го обольщения, свойственного хамству.

Растекаясь по пустующим улицам, толпа поглощает отдельных людей, чтобы стащить их по эволюционной лестнице обратно – в стаю, стадо. В сполохах Апокалипсиса персонажей *Лаза* видит А. Генис: «Маканинская толпа – апокалиптический зверь, явление которого предвещает Страшный суд» (Генис 2002, 52).

Мусорный человек в повести оппозиционен не только интеллектуалу, но и крестьянину. Он обладает безошибочным чувством момента, дьявольской изобретательностью, для простодушного человека недоступными. Сама по себе изобретательность не опасна, хама превращает в чудовище страх перед будущим, ибо он знает о проклятии отца. Удача хама всегда сиюминутна (от Хлестакова у Н. Гоголя до Глеба Капустина у В. Шукшина), меркнет перед онтологической обреченностью судьбы. Не случайно в верхнем городе темно, грязно и главное – пусто: «Шторы – наши запоры. Нас нет. Нас никого нет. Нас совсем нет». Однако, выпав из толпы, мусорный человек тут же пугается и ее, и интеллектуалов. Водитель автобуса, везущий героев по темным улицам хоронить друга, прислушивается к их разговорам, «и поскольку не матюкались, не говорили о примусах и жратве, то было ясно, что они и довели страну до ручки. Погубили! (Если не продали)» (Маканин 2009, 400).

В повести травестируется и перспектива спасения в деревне. Из города многие «уехали в деревню, в какую-нибудь самую далекую, темную» (Маканин 2009, 373). Традиционная для русской культуры надежда на воскресение народа-богоносца оспаривается явлением

деревенского хама: «На остановке входит в автобус крепкий, хладнокровного типа мужичок. Он в новеньком ватнике, в коротких сапогах (так и думается, что за сапогом у него нож. Таких и боится милиция, охота за милицейскими пистолетами идет каждый вечер)». У мужика «с лентой выискивающие жертву светлые серые глаза», он «сходит в полутьму, как к себе домой. Его время» (Маканин 2009, 391). Подобраный, ко всему готовый, без надежд и иллюзий «человек в ватнике» – излюбленный авторский типаж, пришедший на смену «духоборам» писателей-деревенщиков. Такой научается жить без опоры, не высовываться, не верить, не искать обетованных земель, вовремя замечать следы – уходить. Очертания деревенского хама ранее и точнее других передал Шукшин (Ковтун 2012, 74–94), тему блистательно продолжили Л. Петрушевская в рассказе «Новые Робинзоны. Хроника конца XX века» (1989) и Т. Толстая в ретроантиутопии *Кысь*.

Намечая типологию мусорного человека (совок, городской обыватель, деревенский хам) и стратегии самостояния, автор не спешит с оценками. Хамство существует и в пределах подземного утопического города, но там есть сдерживающие механизмы – культура и память. Надменный, равнодушный продавец в переполненном магазине, узнав в Ключарева вестника иного мира, преображается, просит передать поклон близким: «Сытого хамства на его лице уже вовсе нет – просящий интеллигентный человек, Ключарев, конечно, не может отказать, Ключарев смущен (только что плохо о нем подумал)» (Маканин 2009, 422). «Момент истины» в

судьбе каждого персонажа и есть тогда способность откликнуться на «зов», преодолеть «колею веков» хоть на миг. И. Роднянская определяет это как «гуманное место» (Роднянская 1986, 230-247), Л. Анненский как «укол боли», безошибочно указывающий – перед нами человек (Аннинский 1989, 257).

Возможность сказать доброе слово, услышать ближнего относится к числу узловых параметров личности, ее глубинной индивидуальности: «Я существую не потому, что мыслю, сознаю, а потому, что отвечаю на обращенный ко мне призыв другого человека» (Бахтин 1986, 80). К доброте в повести взывают все: врач просит пациента сказать «доброе слово» медсестре; кладовщица ждет ласкового слова, прикосновения; без сострадания невозможна жизнь (судьба юродивого сына героя) и даже прощание с нею (похороны Павлова). Путь героев буквально пролегает от «доброго человека» к «доброму человеку», Ключарев находит пустую освещенную квартиру, где «дверь была специально оставлена открытой для других, для всех» и звонит другу (Маканин 2009, 367); дорогу к моргу указывает незнакомец, голос которого слышен из форточки; в нижнем мире проводником героя становится «некий человек с газетой»; ночью уснувшего странника будит «добрый человек» «с мягкой улыбкой» и провожает до подъезда. Не случайно Чурсин по пути к своему бункеру стремится пройти мимо опушки с сосной (аналог церкви), откуда открывается «поворот дороги», происходит «обретение пространства», примирение с миром.

Встреча героев, однако, не гарантирует облегчения. Голос, призыв одной

души к другой может быть не распознан (как в повести Маканина *Один и одна*, 1987), чужд или недостает силы для ответного порыва. Способные откликнуться объединены в повести *Лаз* символикой искупительной жертвы: похороны Павлова, собравшие друзей, напоминают снятие с креста. Умершего от инфаркта (как распятого) оплакивают, тело забирают из морга, что на пустыре, хоронят не в общей безымянной могиле, но в разрушенной церкви, а место упокоения напоминает лаз и пещеру: «Пещера их Павлова, он ее получил, земля ему пухом» (Маканин 2009, 410). Тело заворачивают в простыню/плащаницу, у могилы тайно собираются близкие, беременная жена, уподобленная Богородице. На месте захоронения сторож обещает посадить куст шиповника. Образы нерождённого младенца (сына умершего), Христа, Богородицы, Неопалимой Купины (куст шиповника) – символы Духа, к которым всякий раз прорывается мысль героя со дна прапамяти. Эти борения (их знаки – стигматы) и передает автор, лишенный утопических упований на преображение природных и социальных законов бытия, но не снимающий с человека ответственности за происходящее с ним.

Жизнь героев в верхнем мире разворачивается помимо воли государства, превратившегося в полного банкрота. На пустых улицах расставляют постовых с дубинками, «при пистолетах в кобуре», с рацией, но все понимают – с наступлением темноты они обречены. Страх милиционеров – стражей порядка – перед толпой ничуть не меньший, чем у обывателей: «В автобусе десяток милиционеров, их везут, чтобы расставить по точкам. На

каждой третьей остановке сколько-то милиционеров выходит. Обычно двое. Парой. По одному их уж давно никто не расставляют – слишком легкая добыча» (Маканин 2009, 398). Бессильна в повести и армия. Заблудившись, Ключарев натывается на вагоны, «полные уголовниками, которых не успели выслать из города. Увидел жалкую охрану – по два солдатика на каждые два вагона. Солдаты были совсем юные, топтались в полутьме» (Маканин 2009, 427). Описание обитателей вагонов повторяет признаки толпы:

Ключарев слышал глухую возню в зарешеченных вагонах. Там топали, там бухали. Громкий слышался мат. Где-то, как ему показалось, медленно поскрипывала отдираемая вагонная доска. Безусловно, солдатики были обречены, и, может быть, впервые в жизни сочувствие Ключарева пало не на запертых, а на тех, кто их охранял.

(Маканин 2009, 428).

В антиутопических текстах 1990-х годов власть предстает в образе обреченной горстки милиционеров, безумной «хозкоманды», напоминающей продотряд (в «Новых Робинзонах» Петрушевской) или конницы Санитаров, отсылающей к фигурам инквизитора и Двенадцати у А. Блока, в *Кыси* Толстой (Ковтун 2014, 69–95).

В нижнем просвещенном мире рядные, веселые люди выглядят счастливыми, поют песни, но Ключарев относится к ним с мягкой иронией, как к детям. Главная тема философских диспутов здесь: «Кто сейчас, в наши дни, окажется люб ее величеству Толпе?» (Маканин 2009, 431). Оценивается способность Государства соблазнять, пред-

лагаются различные версии Вождей: от Чарли Чаплина до маршала Жукова, однако и автор, и герои не скрывают иронии по отношению к подобным перспективам.

Пока власть в верхнем мире отдает на закланье последних стражей, а интеллигенция уходит в бега, толпа бесчинствует, видит в Государстве не Благотетеля и Вождя, но недостойного, отвратительного конкурента в борьбе за выживание, еще вооруженного и опасного. Государство, проводя социальную хирургию по удалению верхних, интеллектуальных слоев общественного сознания, разжигая первобытные страсти, оказалось один на один с уголовниками, которые нечувствительны к прежним механизмам соблазна. Антиутопические тексты 1990-х показали, что победа Государства, к которой в классической утопии готовили через доносы, страх, Великую операцию, оказалась Пирровой, затраты несоразмеримы с целью. Уничтожение души, фантазии, воли, во имя чего и совершалась Великая операция, обернулось разгулом хамства. Инфантильный, ловкий, равнодушный и агрессивный «мусорный человек» перестал торговаться и спорить с Левиафаном, разучился читать и мечтать, что привело к остановке истории, исчезновению бытия (Воробьева 2006, 202–210).

Не случайно повесть Маканина имеет рамочную композицию, начинается и завершается ее сцена распятия (порог квартиры – лаз – крест), после которого не следует Воскресение. Ключарев боится застрять между мирами, заблудиться в перекрестках памяти, навсегда остаться на кресте. И знание бессильно, и нет слова, облеченного сакральной

силой, как нет и уверенности, что сила такая на благо. Ответ разума заблудшему, как клюка слепцу: «когда наступит полная тьма, идти и идти, обстукивая палкой тротуары. Весь ответ». Этот приговор оскорбляет героя: «Ужасный сон. И несправедливый, с точки зрения Ключарева, в своем недоверии к разуму» (Маканин 2009, 444), но автор его принимает. Сам образ палки/клюки – ироническая реплика в сторону символики ключа от утраченной двери

к счастью. В этом кажущемся смирении художника критика увидела отказ от классических установок, игру «на понижение в оценке человека, его сил и возможностей», что представляется спорным (Роднянская 1986, 231).

Своеобразный гуманизм Маканина в том, чтобы, признав абсурд бытия и малость человека, сохранить веру в возможность духовного порыва личности, освобождающего из плена одиночества, страха, «колеи веков» хоть на миг.

ЛИТЕРАТУРА

Абашева, М. 2001. *Литература в поисках лица (Русская проза в конце XX века)*. Пермь: Изд-во Пермского университета.

Аннинский, Л. 1989. *Локти и крылья: Литература 80-х: надежды, реальность, парадоксы*. Москва: Сов. писатель.

Басинский, П. 2014. *Скрипач не нужен*. Москва: ФСЕ: Редакция А.Шубиной.

Бахтин, М. М. 1986. К философии поступка. *Философия и социология науки и техники*.

Ежегодник:1984–1985. Москва: Наука. 80–160.

Воробьева, А. Н. 2006. *Русская антиутопия XX века в близких и дальних контекстах*. Самара: Изд-во Самарского науч. центра РАН.

Генис, А. А. 1999. *Иван Петрович умер: Статьи и расследования*. Москва: Эксмо.

Кедрин, Д. 1975. *Избранное*. Уфа: Башкирское книжн. изд-во.

Ковтун, Н. 2005. *Русская литературная утопия второй половины XX века*. Томск: Изд-во Томского ун-та.

Ковтун, Н. 2012. Образ городской цивилизации в поздних рассказах В. М. Шукшина: миметический и семантический аспекты. *Вестник Томского государственного ун-та* 1 (17), 74–94.

Ковтун, Н. 2013. Идея «сбережения народа» в ранних текстах А. Солженицына. *Жизнь и твор-*

чество А. Солженицына: На пути к «Красному Колесу». Материалы Междунар. науч. конф. Москва: Русский путь. 313–327.

Ковтун, Н. 2014. Реальность и текст в прозе рубежа XX–XXI вв.: «Последний мир» К. Рансмайра и «Кысь» Т. Толстой. *Кризис литературоцентричности: утрата идентичности vs новые возможности*. / Отв. ред. Н. В. Ковтун. Москва: ФЛИНТА; Наука. 69–95.

Колобаева, Л. 1990. Горький и Ницше. *Вопросы литературы* 10, 162–173.

Лахузен, Т. 1992. Новый человек, новая женщина и положительный герой, или К семиотике пола в литературе социалистического реализма. *Вопросы литературы* 1, 184–205.

Маканин, В. 2009. *Лаз: сборник*. Москва: Эксмо.

Маньковская, Н. 2000. *Эстетика постмодернизма*. Москва: Наука.

Мароши, В. В. 2002. Скифы и гунны в сюжете варварского нашествия. *Материалы к словарю сюжетов и мотивов русской литературы*. Вып. 5: Сюжеты и мотивы русской литературы. Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета. 184–192.

Меньшиков, М. О. 1900 (1997). Красивый цинизм: Статья. № 9. *Максим Горький: pro et contra*. / Вступ. ст., сост. и примеч. Ю. В. Зобнина. С.-Петербург: РХГИ.

Московичи, С. 1996. *Век толпы: исторический трактат по психологии масс*. Москва: Прогресс-Академия.

Платонов, А. 2010. *Счастливая Москва: Роман, повесть, рассказы*. Москва: Время.

Проскурина, Е. Н. 2013. Социализм как фашизм: рассказ А. Платонова «Мусорный ветер». *Критика и семиотика* 1 (18), 186–199.

Роднянская, И. 1986. Незнакомые знакомцы: К спорам о героях В. Маканина. *Новый мир* 8, 230–247.

REFERENCES

Abasheva, M. 2001. *Literatura v poiskakh litsa* (*Russkaya proza v konce XX veka*). [Literature in search of individuality (Russian prose at the end of the 20th century)]. Perm: PSU publishing.

Anninskii, L. 1989. *Lokti i kryl'ya: Literatura 80-h: nadezhdy, real'nost', paradoksy*. [Elbows and Wings: Literature of the 1980s: Hopes, Reality, Paradoxes]. Moscow: Sovetskii pisatel'.

Basinskii, P. 2014. *Skipach ne nuzhen*. [Violinist is not needed]. Moscow: FSE: Redaktsiya A. Shubinoi.

Bakhtin, M. M. 1986. K filosofii postupka. [Towards the philosophy of the act]. *Filosofiya i sotsiologiya nauki i tekhniki*. An annual: 1984–1985. Moscow: Nauka. 80–160.

Genis, A. A. 1999. *Ivan Petrovich umer: Stat'i i rassledovaniya*. [Ivan Petrovich is Dead: Articles and Investigations]. Moscow: Eksmo.

Kedrin, D. 1975. *Izbrannoe*. [Selected works]. Ufa: Bachkirskoe knizhnoe izdatel'stvo.

Kovtun, N. 2005. *Russkaya literaturnaya utopiya vtoroi poloviny XX veka*. [Russian Literary Utopia of the Second half of the Twentieth century]. Tomsk: TSU publishing.

Kolobaeva, L. 1990. Gor'kii i Nitshe. [Gorky and Nietzsche]. *Voprosy literatury* 10, 162–173.

Kovtun, N. 2012. Obraz gorodskoi tsivilizatsii v pozdnykh rasskazakh V. M. Shukshina: mimeticheskii i semanticheskii aspekty. [Image of urban civilization in late stories by V. M. Shukshin: mimetic and semantic aspects]. *Tomsk State University Bulletin* 1 (17), 74–94.

Kovtun, N. 2013. Ideya „sberezheniya naroda“ v rannikh tekstakh A. Solzhenitsyna. [The

Савкина, И. 2014. «Поцелуй вампира»: убивает или сохраняет классику современная массовая литература? *Кризис литературоцентричности: утрата идентичности vs новые возможности*. / Отв. ред. Н. В. Ковтун. Москва: ФЛИНТА; Наука. 95–115.

Семыкина, Р. С. 2008. *В матрице подполья: Ф. Достоевский – Вен. Ерофеев – В. Маканин*. Москва: ФЛИНТА; Наука.

idea of the “saving of nation” in early texts by A. Solzhenitsyn]. *Zhizn' i tvorchestvo A. Solzhenitsyna: Na puti k „Krasnomu Kolesu“*. [Life and Work of A. Solzhenitsyn: “The Way to The Red Wheel”]. Proceedings of the XIII International Scientific Conference. Moscow: Russkii put'. 313–327.

Kovtun, N. 2014. Real'nost' i tekst v proze rubezha XX–XXI vv.: „Poslednii mir“ K. Ransmaira i „Kys“ T. Tolstoi. [Reality and Text in the Prose at the Turn of the 20–21 st. Centuries: “The Last World” by Ch. Ransmayr and “Kys” by T. Tolstaya]. *Krizis literaturotsentrichnosti: utrata identichnosti vs novye vozmozhnosti*. [Crisis of Literary Centricism: Loss of Identity vs. New Opportunities]. Ed. by N. V. Kovtun. Moscow: FLINTA; Nauka. 69–95.

Lakhuzen, T. 1992. Novyi chelovek, novaya zhenshchina i polozhitel'nyi geroi, ili K semiotike pola v literature sotsialisticheskogo realizma. [The new man, the new woman and the positive hero, or toward the semiotics of gender in the literature of socialist realism]. *Voprosy literatury* 1, 184–205.

Makanin, V. 2009. *Laz: sbornik*. [The manhole: A collection of works]. Moscow: Eksmo.

Man'kovskaya, N. 2000. *Estetika postmodernizma*. [The Aesthetics of Postmodernism]. Moscow: Nauka.

Maroshi, V. V. 2002. Skify i gunny v syuzhete varvarskogo nashestviya. [The Scythians and the Huns in the story of the barbarian invasions]. *Materialy k slovaryu syuzhetov i motivov russkoi literatury*. [Materials for Dictionary of themes and motifs of Russian literature]. Vol. 5: Syuzhety i motivy russkoi literatury. [Plots and motifs of Russian literature]. Novosibirsk: NSU publishing. 184–192.

Men'shikov, M. O. 1900 (1997). Krasivyi tsinizm: Stat'ya № 9. [The beautiful cynicism: Article 9]. *Maksim Gor'kij: pro et contra*. [Maksim Gorky: pro et contra]. / Introduction, compilation and notes by J. V. Zobnin. St. Petersburg: RGGI.

Moscovici, S. 1996. *Vek tolpy: istoričeskij traktat po psihologii mass*. [The Age of the Crowd: A Historical Treatise on Mass Psychology]. Moscow: Progress-Akademiya.

Platonov, A. 2010. *Schastlivaya Moskva: Roman, povest', rasskazy*. [Happy Moscow: Novel, novella, short stories]. Moscow: Vremya.

Proskurina, E. N. 2013. Sotsializm kak fashizm: rasskaz A. Platonova „Musornyi veter“. [Socialism like fascism: the story “Garbage wind” by A. Platonov]. *Kritika i semiotika* 1 (18), 186–199.

Rodnyanskaya, I. 1986. Neznakomye znakomcy: K sporam o geroyakh V. Makanina. [Unfamiliar

acquaintances: toward the discussions about the heroes of V. Makanin]. *Novyi mir* 8, 230–247.

Savkina, I. 2014. „Pocelui vampira“: ubivaet ili sokhranyaet klassiku sovremennaya massovaya literatura? [The Kiss of Vampire: does the Modern Mass Literature Kill or Preserve Classics]. *Krizis literaturotsentrčnosti: utrata identičnosti vs novye vozmožnosti*. [Crisis of Literary Centrism: Loss of Identity vs. New Opportunities]. Ed. by N. V. Kovtun. Moscow: FLINTA; Nauka. 95–115.

Semykina, R. S. 2008. *V matritse podpol'ya: F. Dostoevskii – Ven. Erofeev – V. Makanin*. [In an underground matrix: F. Dostoyevsky – Ven. Erofeev – V. Makanin]. Moscow: FLINTA; Nauka.

Vorob'eva, A. N. 2006. *Russkaya antiutopiya XX veka v blizhnikh i dal'nikh kontekstakh*. [Russian dystopia of the Twentieth century in the near and distant contexts]. Samara: Samara Scientific Centre of the RAS publishing.

THE “PERSON OF RUBBISH” AND THE MODERN STATE: TEMPTATION MECHANISMS

Natalia Kovtun

S u m m a r y

The article is devoted to the problem of existence of the person of post-industrial society as he is presented in anti-utopian texts of the 1990s. The emphasis on the 1990s isn't casual, the era sums up the results at this time through and by literature, the main tendencies and characteristic types are highlighted. In epoch-making times, the person of crowd also declares himself. By differentiation of concepts of the mass person and the person of crowd, we construct the image of “the person of rubbish”, which survived on shatters of former utopias and mythologemas. The person of rubbish, in our opinion, is a transcription of the ancient Ham, left a shadow of heroic eras. The story “Laz” (Manhole) of V. Makanin describes the strategies of a survival of intellectual singles, crowds and inhabitants in post-apocalyptic time, their relationship with the state. The text testifies that a victory of the Unitary State

(for which in a classical utopia prepared through Great operation, fear, denunciations) proved to be a Pyrrhic victory. So far, the power gives the last guards on sacrifice, and the intellectuals go to races, the crowd commits excesses, sees in the State not the Benefactor and Leader but the unworthy, disgusting competitor in fight for a survival, still armed and dangerous. The state, carrying out social surgery on removal of the top, intellectual levels of public consciousness, kindling primitive passions, appeared in private with criminals who are tolerant to former mechanisms of temptation. The destruction of soul, the imagination will (there was the aim of the Great operation) turn back the rudeness of revelry. The infantile, dexterous, indifferent and aggressive “person of rubbish” ceased to bargain and argue with the Leviathan, forgot to read and dream, what led to a stop of history, life disappearance.

„ŠIUKŠLINIS“ ŽMOGUS IR ŠIUOLAIKINĖ VALSTYBĖ: GUNDYMO MECHANIZMAI

Natalja Kovtun

S a n t r a u k a

Straipsnyje nagrinėjama postindustrinės visuomenės žmogaus egzistavimo problema, jo vaizdavimas XX a. dešimtojo dešimtmečio antiutopiniuose tekstuose. Tuo laikotarpiu buvo reljefiškai nubrėžtos pagrindinės epochos tendencijos ir išryškinti charakteringi tipažai. Skirdama masinį ir minios žmogų, straipsnio autorė išskiria „šiukšlinio“ žmogaus, išgyvenusio ankstesnių utopijų ir mitologemų griuvėsiuose, įvaizdį. Šiukšlinis žmogus yra senovės Chamo, išėjusio iš herojinių epochų šešėlio, transkripcija. Vladimiro Makanino apysakoje „Landa“ aprašomos vienišių intelektualų, minios ir miesčionių išgyvenimo strategijos postkapitalistiniu laikotarpiu,

jų santykiai su valstybe. Tekstas byloja – Vieningos Valstybės pergalė, kuriai klasikinėje utopijoje buvo ruošiamasi atliekant Didžiąją Operaciją, išnaudojant baimę, įskundimus, iš tikrųjų tebuvo Pyro pergalė. Atlikdama intelektualų sluoksniu pašalinimo iš visuomeninės sąmonės socialinę chirurgiją, kurstydamą primityvias aistras, valstybė akis į akį susidūrė su galvažudžiais, kuriems būdinga nejautra ankstesniams gundymo mechanizmomams. Sunaikinus sielą, vaizduotę ir valią, įsisiautėjo chamizmas. Infantilus, apsukrus, abejingas ir agresyvus „šiukšlinis“ žmogus nebesidėrėjo ir nebesiginčijo su Leviatanu, nebemokėjo skaityti ir svajoti, dėl to nustojo galioti istorija, išnyko būtis.

Получено: 2015, май

Принято: 2015, май

Адрес автора:

660113 Россия

г. Красноярск

ул. Карбышева, д. 4, кв. 6

E-mail: nkovtun@mail.ru